

ИРИНА ЕМЕЛЬЯНОВА
ПОИМЕННОЕ
Незабытые лица



Ирина Емельянова

**Поименное. Незабываемые
лица (сборник)**

«Прогресс-Традиция»

2017

УДК 84
ББК 82.0

Емельянова И. И.

Поименное. Незабываемые лица (сборник) / И. И. Емельянова —
«Прогресс-Традиция», 2017

ISBN 978-5-89826-482-6

В этой книге собраны статьи, написанные по случаю, по «живому следу», и разбросанные по разным журналам и газетам. Это и юбилейные заметки и некрологи и отрывки из воспоминаний – своего рода портретная галерея разных людей, оказавших влияние на жизнь автора, но иногда просто промелькнувших ярко и запоминаемо. Завершают издание тексты, посвященные Вадиму Козовому – поэту, философу, переводчику, чей жизненный путь оборвался слишком рано.

УДК 84
ББК 82.0

ISBN 978-5-89826-482-6

© Емельянова И. И., 2017
© Прогресс-Традиция, 2017

Содержание

От автора. Незабываемые лица	6
Айги. «Гена Лисин – Геннадий Айги»	8
Анна Баркова. «Старуха странная»	14
Анна Саакянц. «Рыжий соавтор»	18
Ася-Ися. «Памяти друзей»	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Ирина Емельянова
Поименное. Незабываемые лица

© Емельянова И. И., 2017

© Прогресс-Традиция, 2017

* * *

От автора. Незабытые лица

«Утро туманное, утро седое...» – начинает Тургенев свое знаменитое стихотворение. Да, сквозь почти непроглядный туман не различишь теперь те «частички бытия», паутинки быта, снежинки во вьюге, которые составляли воздух времени.

Теперь, из некоторой дали
не видишь прошлых мелочей,
и время сгладило детали...¹

Если теперь начинать писать «мемуары», то неизбежно что-нибудь присочинишь, невольно подставишь под стершееся в памяти впечатление новый образ, придумаешь даже якобы бытовавшие «словечки обихода» – мемуаристам ли этого не знать! Поэтому я решила просто собрать свои старые статьи и очерки, посвященные разным людям, своего рода «портретную галерею», разбросанные по разным журналам (да и газетам!), как русским, так и зарубежным, в одну книгу. Это и юбилейные заметки, и часто, увы, некрологи, и отрывки из воспоминаний, опубликованных «по случаю», в них чувствуется непосредственность, достоверность общения – они написаны еще «по живому следу».

«Нивы печальные, снегом покрытые...» – продолжает Иван Сергеевич. Да, это следы на снегу, и чтобы их окончательно не запорошило – я имею в виду именно «паутинки быта», – предлагаю читателям рассказы о людях, не только оказавших влияние на мою жизнь, но иногда просто промелькнувших – ярко и запоминаемо. Воспоминания о Пастернаке, Шаламове, Ариадне Эфрон я не включила в этот сборник, они не раз публиковались, достаточно хорошо известны – «Легенды Потаповского переулка». А на этих страницах – мои учителя, сокурсники, друзья по лагерному прошлому. В кругу знакомых нашего дома в Потаповском было немало интересных оригинальных людей, «забегавших на огонек». Нет, это не «лица, давно позабытые», это «незабытые лица».

Дабы избежать иерархии, обращаюсь к старинному справедливому принципу – располагаю их в алфавитном порядке!

Поименное перечисление... «Поименное» – так называлась последняя книга Вадима Козового, поэта, философа, переводчика, чей жизненный путь оборвался слишком рано. Во многих стихах этой книги звучит тема памяти, трагедия неизбежного забвения. Он писал (задолго до своего реального конца) о «девчоночке, задувшей излишнюю свечку горя на забывающем меня подоконнике под резцом нерасчисленных звезд», и мне хотелось, нарушив алфавитный порядок, завершить этот сборник текстами, посвященными Вадиму, человеку, на долю которого, может быть, выпало немало горя, и чья свечка погасла до времени, но ее свет еще доходит до нас.

И пусть откликнется – через десятилетия – эта память в названии моей книжки, пусть она тоже будет «Поименным», ведь, как писал Вадим в своих стихах – «поэзия – кратчайший путь между двумя болевыми точками. Настолько краткий, что ее взмахом обезглавлено время» («Мелом и грифелем», «Прочь от холма»).

Кроме опубликованных текстов я иногда привожу выдержки из своих дневников, они дополняют рассказ живыми подробностями, в них «незабытые лица» говорят своими голосами. Время и место публикаций указывается.

¹ Б. Пастернак. Высокая болезнь.

Париж, 2016

Айги. «Гена Лисин – Геннадий Айги»

В конце октября 1958 года Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия по литературе. Известно, как отреагировала на это отличие советская власть – началась исступленная травля – в газетах, по радио, на писательских собраниях... Определенная «правоверная» часть студентов Литературного института, где я тогда училась, устроила демонстрацию с плакатами «Иуда, вон из СССР!». Некоторые, особенно ретивые, рвались даже поехать в Переделкино, чтобы учинить погром на пастернаковской даче.

В один из таких «ветхозаветных», по словам Пастернака, вечеров, помню, мама сказала:
– Сегодня вечером я не смогу вырваться в Переделкино. Но нельзя, чтобы Боря один ходил по поселку. Попроси Гену Лисина (он тогда еще не был Айги) съездить, подежурить возле дачи.



Геннадий Айги. Середина 1970-х годов

– Мама, но Гена такой маленький, слабый! Его побьют. Пусть лучше Митя (мой брат) поедет.

– Ты ошибаешься. Гена очень сильный.

Она была права. Гена Айги действительно был очень сильным человеком. Чего, например, стоила его победа над французским языком! Какая нужна была воля, чтобы человеку, родившемуся в чувашской глубинке, настолько овладеть чужим языком, чтобы прорваться не только к тонкостям самой сложной авангардной французской поэзии, но и самому писать стихи по-французски!

Когда я поступала в Литературный институт, Б. Л. Пастернак сказал мне: «А у меня там тоже есть друзья. Гена Лисин, Юра, Ваня (Панкратов и Харабаров)». Назвал еще несколько имен грузин, учившихся на Литкурсах. Но первым он назвал Гену. Можно сказать, что он «рукоположил» Гену в поэты. По легенде именно Пастернак подтолкнул его перейти в поэзии на русский. В этом, по правде сказать, я сомневаюсь. Такие советы было не в его правилах давать – видимо, у Гены самого вызрела внутренняя потребность обратиться ко второму родному языку, дававшему большие словотворческие возможности.

В институте мы с Геной быстро подружились. У него было хорошее лицо, умный взгляд исподлобья, обаятельная улыбка – застенчивая и с хитрецей... Он до конца жизни сохранял свой особенный стиль, свой «имидж» – кудлатая голова, вечные свитера, косолапая походка, уютный басок (он забавно произносил шипящие: «Иришшка», «вешши», «книшшки»). Гена беспрестанно работал над собой, над своим образованием. В сером трепаном портфеле носил вместе со своими стихами списки французских глаголов. Очень много читал (он первый «открыл» для меня, например, Томаса Манна), замечательно знал и любил музыку. Дружил с музыкантами – авангардистами, не пропускал ни одного концерта «Мадригала».

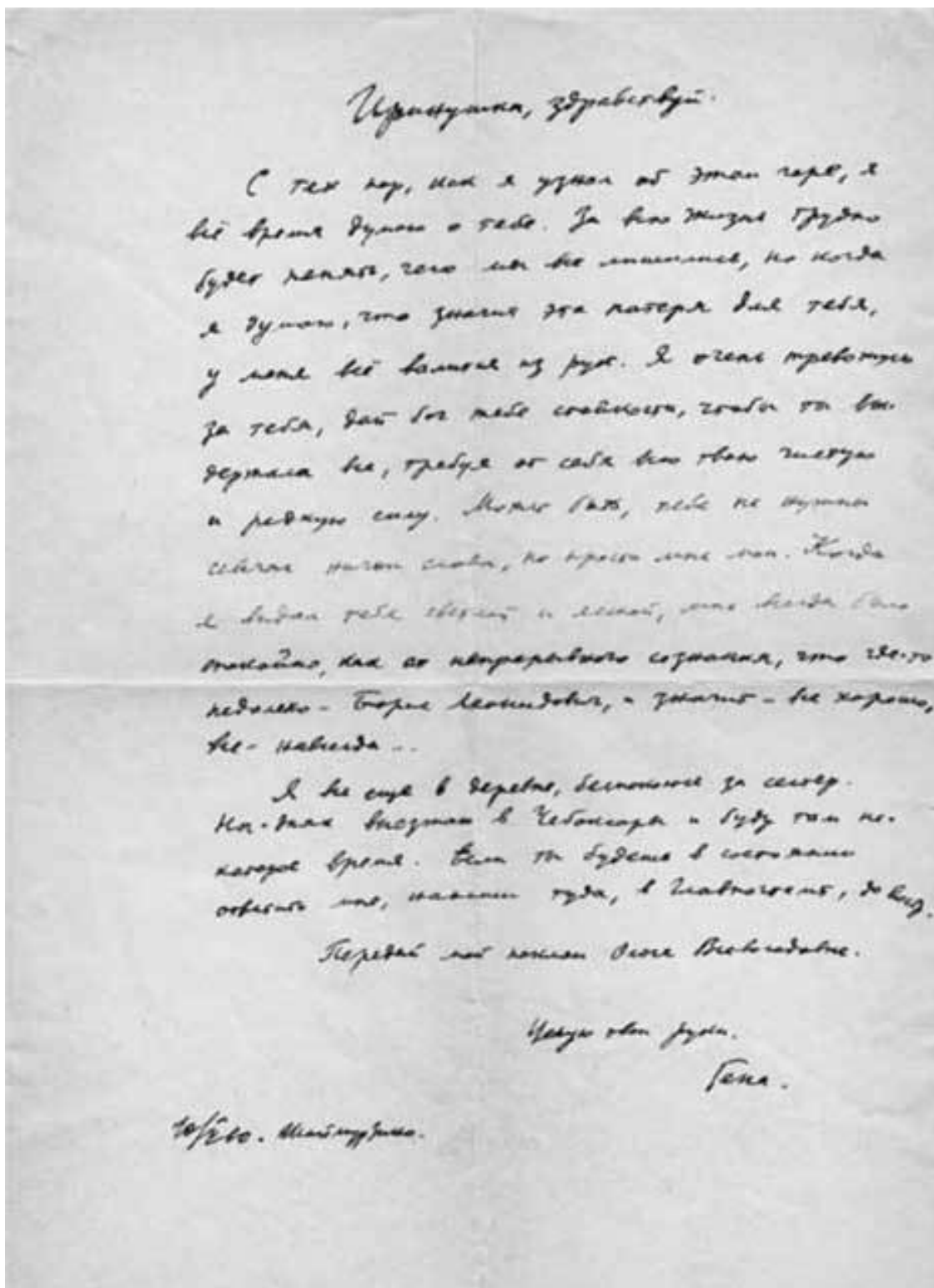
В институтские годы он был почти неразлучен с башкирским поэтом Римом Ахмедовым. Всюду они появлялись вместе: Гена, низкорослый, коренастый, этакий чувашский медвежонок, и высокий, красивый, меднолицый Рим, таким рисовали в наших учебниках истории Салавата Юлаева. Два волжских богатыря. Но в трудную минуту Генкиной жизни Рим не поддержал его. Более того, как говорил Гена – «предал». Потеря друга была лишь одной из многих бед, подстерегавших его в начале жизни.

«Рукоположение» Пастернака, да и дежурства у дачного забора, не прошли ему даром. В институте его футболили из семинара в семинар – ни один из ведущих занятия советских литераторов не брал на себя смелость поддержать поэта, исповедовавшего иную литературную традицию, чурались его верлибров, «чужого», «не нашего» образного мышления. Последний год его приютил у себя на семинаре Михаил Светлов, не побоявшийся сказать о Гене, что это «наш Уитмен». Но все равно – диплом ему завалили (из-за «творческой несостоятельности»). Он защитил его заочно, кажется, через два года). Начало 60-х было для него очень трудным временем. Он скитался по стране, не было дома, его не печатали. В 1960 году умерла его мать, которую он нежно любил. И он не смог приехать на похороны Пастернака 2 июня. Помню только его телеграмму из Чувашии, деревня Шаймурзино: «Здесь и там у меня все кончилось целую ваши руки».

В 1969 году он сам поворачивает свою судьбу – он уже не Лисин, а Айги. Передает на Запад свои стихи, его печатают и в Германии, и во Франции, и в странах «народной демократии». К Гене приходит настоящая слава. Командор ордена литературы и искусства во Франции. Четыре раза номинируется на Нобелевскую премию. Первым в 1991 году получает премию имени Пастернака.

О нем пишут книги.

Если говорить об истоках, влияниях, которые испытала его собственная поэзия, то это, конечно, не Уитмен, а традиция французского сюрреализма: Реверди, Шар, Мишо, Понж... Он говорил как-то, что в чувашских народных песнях, если бы я их понимала, меня бы поразило сходство с поэтикой Понжа, с его сюрреалистской живописностью, причудливой «предметностью». Любовь к поэзии Рене Шара привела к дружбе Гены с моим мужем, поэтом Вадимом Козовым. Оба были на обочине официальной ложноклассической поэзии, оба прорывались к новому, а в Европе уже давно получившим право на существование ритмам и интонациям. Для обоих кумирами были русские футуристы – Хлебников, Крученых, Гуро, ранний Маяковский (Гена одно время работал в музее Маяковского), то есть задушенная большевиками, искусственно прерванная традиция русского словотворчества.



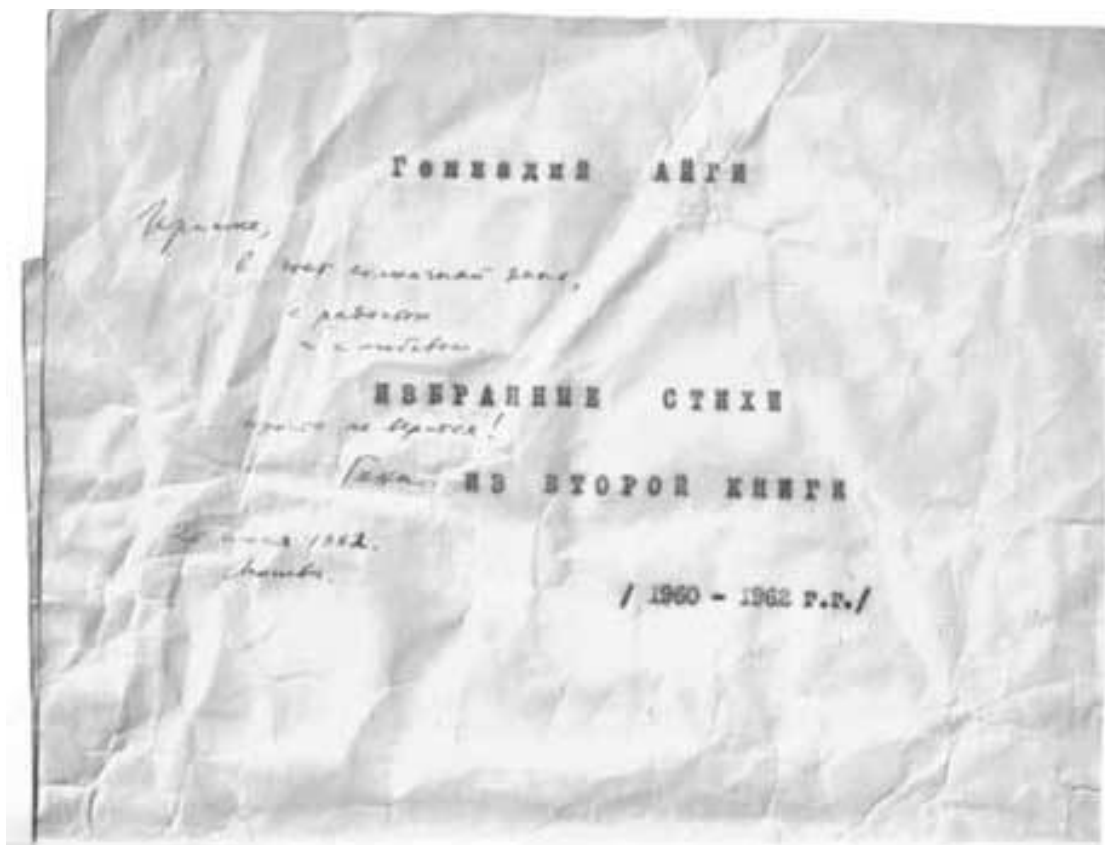
Письмо, отправленное Геннадием Айги из Чувашии после смерти Пастернака

На дворе повернувшая к зиме оттепель шестидесятых годов. Железный занавес. А два русских поэта, встретившись, взяв хлеб, наизусть, читают друг другу стихи Рене Шара по-французски: Айги, уроженец деревни Шаймурзино, и Вадим, харьковчанин, шесть лет отсидевший в мордовских лагерях, отрезанный, казалось бы, от мировой культуры. Русское чудо! Когда Гена готовил свою антологию французской поэзии в переводе на чувашский, Вадим, тончайший знаток французского стиха, помогал ему и в составлении, и в толковании сложных мест,

за что и был с благодарностью упомянут в предисловии. «Франци поэчесем» вышла в Чебоксарах в 1968 году, и, как ни странно это звучит, первые переводы Рене Шара, Анри Мишо, Реверди и других сюрреалистов появились в России сначала на чувашском. Только в 1970 году в «Прогрессе» вышли переводы Шара и Мишо, сделанные Вадимом Козовым. На экземпляре «Франци поэчесем», хранящемся у меня, дарственная надпись: «Вадиму, Ирине, Борису. С любовью. Обнимаю Вадима по-братски. С сердечной признательностью. К тому же – новогоднее лакомство зрительное. Айги. 29 декабря 1968 года». Книга – по тем временам – была очень изящно издана.



В 1981 году Вадим уехал во Францию, где остался навсегда. Он тосковал по России, по друзьям, по неповторимой атмосфере читательского энтузиазма – не с кем было, как когда-то, перебивая друг друга, читать любимые французские стихи... С Геной (уже Айги) они неожиданно встретились на первом свободном форуме русской поэзии в Гренобле в 1988 году, в эйфории перестройки. Обнялись, оба были страшно рады встрече. У обоих было тогда много планов, да и пережито немало, но общность вкусов, оценок, рыцарская преданность поэзии остались теми же. Провели вместе не один вечер.



Говорят, в последние годы, когда Гена стал широко известен, в его поведении появилась некая сановность, излишняя требовательность к друзьям, обидчивость. Хочется думать, что это был налет, пленка – как «калькомани»: ведь стоило ее сдвинуть, и под ней оказывался тот же Гена, Генка, открытый, доброжелательный, а главное – «поэт милостью Божьей», как говорил о нем Пастернак.

Гена часто бывал у нас в Потаповском в годы нашего совместного студенчества. Мама любила и ценила его. И сохранились замечательные кинокадры (у меня в то время была любительская кинокамера) – Гена на нашем балконе, бесстрашно уперся ногами в парапет, молодой, веселый, кудлатый, с обаятельной своей улыбкой. Он тоже теперь – «легенда Потаповского переулочка».

Париж, 2006. Опубликовано в журнале «Дети Ра» (11), 2006

Анна Баркова. «Старуха странная»

Был самый конец января, а может, начало февраля, восточно-сибирского января шестидесятого года прошлого века. Мы с мамой после месяца кошмарных пересылок (Свердловск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Тайшет, наконец – станция Невельская) прибыли в политическую зону № 14 (плюс таинственные ЖШ и ПЯ – «Женский шалаш»? – спрашивали меня в письмах подруги). Причем от станции Невельская до зоны шли по тайге пешком, так как за нами прислали лошадь без саней, и она везла только наши мешки. Маме (после конфискации) выдали старую кроличью шубу, мне в шубе отказали, я шла в пальто, но не замерзла! Осталась жива, хотя можно себе представить, в каком виде мы добрались до этой зоны. И когда мы (после шмона на вахте) ошарашенно оглядывались, сидя на нарах в предназначенном для нас бараке (надо признать, весьма чистеньком, с вышитыми подушечками в головах), к нам пришли три феи.



Вернее, они мне показались старыми колдуньями, хотя были совсем по годам не стары, чудовищная лагерная жизнь состарила и изуродовала их. Самой чистенькой, кругленькой и опрятной была среди них Дора Борисовна Кустанович, отбывавшая наказание за «сионизм». Две другие – Анна Александровна и ее подельница Валентина Семеновна Санагина за годы, нет, десятилетия! – гулаговских мытарств превратились в развалины – обе были нездоровы, оборваны (на А.А. была никогда не снимаемая потрепанная ушанка, из-под которой высовы-

вались длинные, нечесанные, когда-то рыжие кудри, а В.С. – почти до глаз закутана в старый черный платок), морщинистые лица, отекавшие руки – все это потрясло меня. Феи принесли нам дары. Дора Борисовна – шпильки для моих отросших за время заключения и давно немых волос, Санагина – горячий чай в кружке, А.А. – пачку масла.

Это был поистине королевский дар. А.А. и ее поделница не имели родственников, им, очень редко, присылала посылки их бывшая (когда они имели короткую перед последним арестом передышку и снимали комнату в Луганске, тогда Ворошиловграде) квартирная хозяйка Брехунова, видимо, хорошая, сердечная женщина, у которой за этих горемык болело сердце. И из этой посылки А.А. выделила нам кусок масла.

Интеллигенции в зоне была горсточка, основную массу заключенных составляли сектантки, простые женщины, в основном с Украины (они и вышивали наволочки) и прибалтийские партизанки. Эта горсточка (Ира Вербловская, Натела Маградзе, три феи, мы с мамой, не помню, кто еще) собиралась, чтобы поговорить «о высоком», в комнате КВЧ или в классе школы, маленьком полусарае, где русский язык преподавала неграмотным крестьянкам-заключенным Дора Борисовна. Там же А.А. и писала, в школьные тетрадки в линейку, крупным, красивым почерком, фиолетовыми чернилами, свои стихи. У нее была астма, она задыхалась в инвалидном бараке, где они с Санагиной «жили», там было много лежачих больных женщин, спертый воздух, и она либо сидела за столом в КВЧ, либо прогуливалась с кем-нибудь из нас около барачков. Нашим праздником были «чай» – А.А. замечательно заваривала душистый крепкий чай (хотя в быту она была совершенно беспомощна, все их «хозяйство» вела умелая В.С.), но вот чай – это была ее страсть, ей необходим был такой допинг. Вокруг «чая» читала свои стихи, и старые, по памяти, и свежие, писала она непрерывно, только этим жила, выливая в стихи и свой колючий темперамент, и презрение к режиму, и женскую тоску. Иногда они звучали пародийно, зло пародийно:

Братя – писатели, в нашей судьбе²
что-то лежит роковое...
Жопу лизнул – оказалась не та...

Иногда трагически:

Нависла туча окаянная,
что будет – дождь или гроза?
И вижу я старуху странную,
древнее древности глаза.

Куда ты, бабушка, направилась?
Настанет буря – не стерпеть.
– Жду панихиды. Я преставилась.
Да только некому отпеть.

Это я запомнила с ее голоса, хриплого (она курила, несмотря на астму, причем махорку, и меня научила). Или это: «Нам отпущено полною мерою все, что нужно для злого раба. Это серое, серое, серое – небо, вышки, запретки, судьба...»

Мне по душе был ее колючий юмор, беспощадные оценки (имела право!), своеобразное обаяние. Никаких «слюней», сентиментальности, иногда вздорность, даже капризность, самодурство. Но надо понимать и шизофреническую лагерную действительность, полную оторван-

² Это отсылка к известному стихотворению Некрасова.

ность от реального мира, смещение норм. Например, когда я освобождалась, Санагина хотела (и я горячо обещала), чтобы на воле я занялась их делом, пошла в прокуратуру. Как вывезти их приговор, обвинительное заключение? Ведь на вахте освобождавшихся шмонали. И вот они всерьез предложили мне зашить эти бумаги в подошву валенок. «Господи, но ведь я освобождаюсь в июне, какие могут быть летом валенки?» Тогда был предложен не менее «реальный» план: «Надо достать воздушный шарик, привязать к нему бумаги и пустить этот шарик через запретку, а вы будете его ловить за зоной». Я просто положила их приговор в старый конверт с письмом и спокойно вывезла.

Когда я прочла их приговор, волосы буквально встали дыбом от кафкианской чудовищности обвинения. Даже мы с мамой (севшие ни за что, просто это была месть только что умершему Пастернаку) казались по сравнению с ними матерыми разбойницами. И вот за это – А.А. пересылала по почте свои воспоминания жившей в Москве приятельнице по заключению В. Макотинской – десять (и не первых!) страшных лет лагерей больному человеку, поэту, который мог бы составить гордость русской литературы!

Весной 1961 года лагерь переехал в Мордовию. И когда наша «горсточка» собралась уже не под сибирскими пихтами, а под русскими березами (нас с мамой везли туда почему-то отдельно, окольным путем, через Казань и Рузаевку), «чай» возобновились, возобновились и прогулки вокруг бараков. Рядом была мужская зона, быстро завязалась переписка (бросали записки, завернув в них камень), у меня начался «роман» с моим будущим мужем Вадимом Козовым. А.А. над романом моим посмеивалась, я давала ей читать мудреные Вадиковы письма, он любил в этих записочках (мельчайшим почерком!) вдаваться в философию, и А.А. прозвала его «ваш амбивалентный». Она писала мне шуточные послания в стихах, довольно добродушные, хотя чего-чего, а добродушия в ее характере не было. Переписка зон была очень активной, в основном, полулюбовной, романы начались не только у меня. И вдруг однажды прилетает камень, а с ним записка «А. А. Барковой!» Это стало настоящей сенсацией. Писал ей Леня Чертков, большой знаток и любитель поэзии (ныне уже покойный), знавший ее как поэта, были вопросы литературоведа к поэту – и это через запретки, под носом конвоя, с риском карцера... Воистину Кафка (или Хармс?) отдыхают...

Никогда не забуду встречу Нового 1962 года в классной комнате, где преподавала Дора Борисовна. Только что ввели новый режим, ограничивающий посылки и нормы питания. Главное – были запрещены сахар и чай! Но мы подготовились: намазали черный хлеб томатной пастой, был лук, селедка, бутылка коньяка, брошенная нам мужчинами из зоны, вафли и сбереженная пачка чая. А.А. была в гневе: взявшаяся заварить чай Валентина Семеновна испортила заварку. Но все равно было очень весело: вдруг погас свет (отказал движок в поселке), а когда загорелся – тарелки оказались пусты. «Милостивые государи, кто последнюю кильку взял??» – вопрошала А.А. Но я подозреваю, что это сделала именно она. Ее обаяние разыгралось в этот вечер в полной мере. «Не шали!» – одергивала она Дору Борисовну, когда та, почти слепая (она носила толстенные смешные очки), роняла на пол корку хлеба. В свою знаменитую шапку-ушанку она положила свернутые бумажки с предсказаниями, мы по очереди вынимали. Они были очень забавные, иногда довольно злые (например: «Если ты, сука, думаешь в этом году освободиться... и т. п.), но в контексте той жизни воспринимались как блестящие новогодние шутки. Юмор был нашей спасительной броней. Мы от души хохотали.

Когда я освободилась, несколько раз получала от нее стихотворные послания. Помню один сонет (она отлично владела разными формами стихосложения, и мне преподавала несколько уроков), заканчивающийся стоном: «Ах Ирочка, пожрать бы всласть!» Все было зарифмовано по канонам. А в лагере в это время действительно стало голодно. Пять килограммов посылка раз в полгода (без сахара и чая). Была маленькая лазейка – не оговаривались бандероли, и первое время в них, между мылом и конвертами, можно было запихнуть шоколадку или витамины. Она взяла с меня клятву, что я в бандероли буду запихивать чай. Довольно скоро эти

«милости» закончились, бандероли тоже запретили, но раз или два я и Макотинская, которая не забывала свою несчастную подругу, посылали ей подкрепление. Иногда удавалось выхлопотать «внеочередную» посылку, посылали ее от имени той же Брехуновой, это был единственный адрес, с которого они (А.А. и Санагина) могли официально что-то получать. Сохранилось ее письмо, в котором она указывает, что положить, и спрашивает, как идут хлопоты по делу. Уже не стихи, тон грустный, безнадежный. В конце концов хлопоты (все взяла на себя Анна Петровна Скрипникова, жившая в Орджоникидзе, мы с ней по этим делам переписывались) увенчались относительным успехом. Обеих преступниц освободили несколько раньше отпущенных им гуманным советским режимом десяти лет. На воле мы уже не встречались.

В одном из ее стихотворений, а читала хриплым голосом, кашляя, были такие строки: «Страдание – творческая материя. Иначе к чему страдания?» Вспоминая ее жизнь, я вспоминаю и эти строки.

Париж, 2009. Выступление в Фонтанном доме на вечере памяти А. А. Барковой

Анна Саакянц. «Рыжий соавтор»

Рыжей Аня не была, но у нее надо лбом среди каштановых кудрей огневел рыжий клочок. Он был именно непослушный, задиристый и удивительно шел к ней, к ее колючему, порывистому, страстному характеру. Но главное в ней было – чувство формы и игры, природный артистизм, обаяние и легкость, за которыми скрывался глубокий и сильный человек. Стоя на крыльце тарусского домика, она стряхивала с шубки снег, а из-под меховой шапки весело смотрели большие серо-зеленые глаза, распахнутые, удивленные. Она, как и Ариадна, любила дурачиться, и они замечательно «подыгрывали» друг другу.

Стройна моя осанка,
Нищ мой домашний кров, —
Ведь я островитянка
С далеких островов! —

напевала Аня, помогая Але что-то ставить на стол. (Она была очень музыкальна, до последних дней слушала оперные кассеты. А вот хозяйство не любила, хотя и стряпала что-то на своей кухоньке для гостей – немудреное, но всегда было вкусно и уютно.) В ней было столько женской прелести, капризной грации, что-то от средневековой неприступной дамы, незабываемое изящество внешнего проявления. Недаром часто ее отношения с мужчинами строились сугубо «куртуазно» – были пажи-рыцари, и любившие ее, и терпевшие от нее, и страдающие без нее. «Романом века» шутя называли друзья ее отношения с «двумя Львами» – Л. М. Турчинским и Л. А. Мнухиным. С Левоу Турчинским, несмотря на сорокалетнюю дружбу и почти ежедневные встречи, они были на «вы». «Прекрасная дама» сохраняла дистанцию.



Когда мы уже подружились, Аня рассказала мне, как первый раз, готовя в Гослитиздате маленький процеженный сборничек Цветаевой в 1961 году, приехала к Ариадне работать над текстом. Это было 3 марта 1961 года. Але уже удалось купить однокомнатную квартирку около метро «Аэропорт». Там почти не было мебели, она еще собиралась по друзьям. Для Ани это была первая встреча с дочерью любимого поэта, она робела, не смела возражать, заранее письменно приготовила «рабочие» вопросы. Но о поэзии в этот первый раз они не говорили.



Ариадна Эфрон и Анна Саакянц в Тарусе. 1960-е годы

– Я должна рассказать вам о своих двух друзьях, которые сейчас в беде, – сказала Ариадна. Она подошла к окну, закурила и, глядя на заснеженные крыши, стала рассказывать о нас, о смерти Б.Л., об аресте, следствии. «Курила без конца, – вспоминала Аня, – и до Цветаевой так и не дошли».

А Ариадна писала мне в лагерь после этой встречи, что у нее появился «рыжий соавтор», который, как муравей, от руки переписывает в архивах статьи Цветаевой из парижских газет. Со временем «муравей» превратился в крупнейшего исследователя творчества Марины Цветаевой. И хотя она никогда не канонизировала свою героиню, не впадала ни в гимназическое обожание, ни в модные ныне «разоблачения», отмахиваясь от роли «ведущего цветаевода», она все же им стала. Без ее книги «Марина Цветаева. Жизнь и творчество», на мой взгляд лучшей из того, что написано о поэте, не может сейчас обойтись ни один вдумчивый читатель цветаевской поэзии. У нее было чутье кладоискателя, – а при разбросанности по всему свету цветаевского архива это было необходимо, – и в ее руках собрался огромный фактографический материал. Люди доверяли ей, ее порядочности, честности настоящего ученого, – и отдавали то, что никогда не передали бы в другие руки. Так, Ариадна открыла для нее свой заветный «сундучок», на моих глазах (уже в Париже) М. Л. Сувчинская отдала Анечке драгоценный фотоальбом, какие-то записки прислал уже умиравший в доме для престарелых Родзевич...

В годы «процеженных» сборничков Аня явилась как бы «прорабом», «первопроходцем» (ух, и влетело бы мне от нее за это слово!) возвращения Цветаевой в Россию. Все другие цветаеведы шли уже ее путем.

Для меня же ее книга ценна не только достоверностью собранного в ней огромного материала, но прежде всего корректностью тона – она не позволяла себе копаться в чужих ранах, заниматься отсебятиной, смаковать сенсационные открытия. Отсюда, может быть, и некоторая сухость, и академизм ее работ, но она так остерегалась вульгарности, «желтизны»!

Нельзя сказать, что ее совместная работа с Ариадной была безоблачной идиллией. Например, Ариадна, для которой главным было, чтобы «Цветаева печаталась в России», осторожно придерживала антибольшевистские стихи матери, негодовала на публикацию их в зарубежных изданиях («Лебединый стан», вышедший в США, поверг ее в полное отчаяние). Благодаря же Аниной настойчивости многие крамольные с советской точки зрения тексты Марины вышли в России гораздо раньше, чем могли бы, соглашайся она во всем с дочерью поэта.

С ней всегда было интересно. Она не могла жить без творчества, без поэзии. Она и меня заставила писать, нашла слова, чтобы убедить в способности что-то создать. Последнее, что она сказала мне: «Хватит тебе чужими письмами заниматься. Пиши свое». Мои «Легенды...» во многом обязаны ей.

Под крылом Ариадны мы подружились. На моей свадьбе с Вадимом Козовым в январе 1964 года они сидят по правую руку от жениха – обе веселые, красивые, умеющие безоглядно радоваться за другого. «Друг – это тот, кто прежде всего и в радости друг».

Аня была моим другом много лет. Верным и легким. Мне легко было с ней дружить, может быть, и потому, что мы были по какому-то «физиологическому» ритму похожи. Не любили торопиться, на вокзал приезжали часа за три до поезда, не занимались спортом, предпочитая валяться с книжкой на диване, медленно ходили, ненавидели магазины... (Как сейчас слышу ее испуганный голос, когда я затащила ее в какую-то парижскую лавочку за кофточками: «Ирка, скажи, ну что я тебе сделала в жизни плохого? За что ты меня сюда затащила!!») И еще – потому что обе любили Алю, без конца говорили о ней, все пытаюсь понять загадку этой великой души.

Как-то в одно из ее предпоследних посещений Франции мы медленно прогуливались где-то в окрестностях Арьежа (около Тулузы), не спешили, разглядывали диковинные каменные поилки для лошадей – еще средневековые, и самих лошадок – черных пиренейских пони с гривами до земли, что называется плелись, судачили, потом, устав, сели отдохнуть на теплые ступени деревенской церкви. Аня, помню, сказала: «Самое красивое место на свете, которое я видела, – это город Каркасон. Если выбирать посмертное место жительства – только там». Но умерла она не в Каркасоне – в Москве. И какой мучительный достался ей конец! Но она до последней минуты осталась самой собой – прекрасной и гордой дамой, благородно не замечающей болезни, с теми же интонациями, иногда капризными, с теми же шуточками, с теми же вспышками темперамента, той же Анютой, Анетой, Анькой... В этом неприятии беды была легкость высшей пробы и большая сила духа. «Уметь умирать, – писала Цветаева, – еще не значит любить бессмертье. Уметь умирать – суметь превозмочь умирание – то есть еще раз: УМЕТЬ ЖИТЬ».

Опубликовано в газете «Русская мысль», 2002, март, а также в книге «Годы с Пастернаком и без него». М.: – Вагриус, 2007

Ася-Ися. «Памяти друзей»

«Друзья» – не то слово, которым определяется роль этих двух людей в моей жизни. Это был родной теплый дом, куда я приходила со всеми своими радостями и горестями в течение очень многих лет. Анна Соломоновна Рапопорт и Исаак Моисеевич Фильштинский, Ася и Ися – почти моя семья. Долгие годы этим домом была их квартира в Козловском переулке на первом этаже около метро «Красные ворота». Странно, всего две комнаты у них было, а казалась квартира большой. Даже «семинары» удавалось там проводить – Леонид Ефимович Пинский, вернувшийся из лагерей, собирал аудиторию, читал лекции, шли дебаты, сколько эти встречи дали нам, почти школьникам, только собиравшимся вступить в жизнь! «Открывали глаза». А я часто просто забегала на «огонек», благо жила рядом. Как ни скромно они жили (ведь только на пенсии – Раисы Львовны и Аси, будущий муж тогда еще не появился), а на столе всегда было угощение – салат какой-нибудь незамысловатый, чай с Асиным пирогом, сахар в старинной хрустальной вазочке. На стене портрет Раисы Львовны, красавицы, Асиной мамы, уютный диванчик, на котором столько душ исповедовалось и получало мудрые советы, сама хозяйка, обаятельная, умница, с острым язычком, прелестным юмором, иногда наивная, но «в высшем смысле» – всегда справедлива и права.





Анна (Ася) Рапопорт и Исаак (Ися) Фильштинский

Незабываемые «паутинки быта»...

«Мудрые советы» – опять не то слово, которым определялось участие этой семьи в моей судьбе. Своей помощью, активным – не на словах – сочувствием они воплощали в жизнь жесткую цветаевскую формулу: «друг – это прежде всего дело». Вот несколько эпизодов, кусочков мозаики, «пазла», из которых складывается картина нашего «содружества».

1958 год. Октябрь. Печально известная травля, которую развернула против Пастернака в связи с Нобелевской премией советская власть. Почти каждое утро я бегаю в Козловский к Асе, где заседал «совет» – слушали зарубежные «голоса», собирали письма в поддержку Бориса Леонидовича, которые я в тот же день ему передавала. Прибегаю, в слезах, показываю Асе знаменитое обращение БЛ к Хрущеву, рассказываю, как вчера ночью отвозили ему проект в Переделкино, что он его подписал... «Не расстраивайся, Ирочка, – говорит она. – Письмо очень достойное».

1960 год. Август. Только что арестовали маму, у нас проходят ежедневные обыски. «Сейчас не сталинские времена, – говорит Ася. – Маме прежде всего нужен адвокат». И вот мы вместе с ней идем к председателю московской коллегии В. А. Самсонову. Авторитет ее покойного отца, Соломона Марковича Рапопорта, блестящего юриста, открывает нам доступ в этот высший орган адвокатуры. Ибо, как сказал мне следователь, сейчас новые времена, адвокаты даже допускаются к делу! Самсонов принимает нас в своем роскошном кабинете, доброжелательный, красивый. Говорит, что дела никакого нет, ограничатся штрафом, что он берется маму защищать, что до суда скорее всего не дойдет. «Скоро увидите маму, да и к жениху во Францию поедете! Но каковы французы! Всегда увозят из России лучшие ценности!» И одобритительно, по-мужски, смотрит в мою сторону. Ася (и я в восторге от ее светской выдержки) тут же парирует: «Но, как видите, Василий Александрович, им не всегда это удастся!» Она оказалась права. Скоро была арестована и я, и в следующий раз я увидела Асю уже в кори-

доре городского суда на Каланчёвке, потрясенную нашим приговором, с красными глазами, но успевшую сказать мне вслед самые нужные в тот момент слова.

А посылки нам в лагерь, сбор денег, консультации с теми же адвокатами – сколько она вложила в них души, здоровья (а оно у нее всегда было хрупким)! Вместе с моим другом, любимым учителем Инессой Малинкович они образовали настоящий «штаб», где решались, например, даже такие вопросы: стоит ли посылать в Тайшет в посылке зеленый лук?

Освободившись по знаменитому УДО, через два года я возвращаюсь в Москву. Июньское раннее утро, поезд из Саранска приходит на Казанский вокзал в 6 утра. Но среди веселых лиц встречающих меня на платформе нет Аси. Метро еще не работает, ей трудно добраться до вокзала в этот час, хотя Казанский и недалеко от «Красных ворот», но она ждет нас у себя. И мы тут же, на платформе, решаем: всей дружной колонной, с цветами, идем к Анне Соломоновне пешком, пусть этот дом будет моим первым на вновь обретенной московской земле! А там уже и стол нас ждет, и моя любимая хрустальная сахарница, и Асин пирог. Незабываемые «паутинки быта»...

Первым домом в Москве он стал и для Вадима Козового, моего мужа. Мы познакомились «путем взаимной переписки» в Мордовии, в лагере. Он освободился в октябре 1963 года, мы встретились. Первые шаги политзека на свободе. Нелегкое время. Да и реальный вопрос встал: где ночевать? Квартира моя в Потаповском была переполнена. Бегу в Козловский. «Ирочка, не волнуйся! Я умею принимать лагерников!» Ася перешла ночевать в спальню к маме, а Вадику, как почетному лагернику, предоставили диван в гостиной. Утром я сижу на рабочем месте в своей редакции, звонок с Козловского. Ася всюду умела прозвониться. «Ирочка! О таком мальчишке можно только мечтать!» Они проговорили полночи. Как и Ася, Вадим был «идейным индивидуалистом» (ее слова), сверявшим свой жизненный курс по своей системе ценностей. Так что в моем замужестве ее роль – не из последних. Но и я не осталась в долгу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.